ВЕЛИКИЙ КУТЮРЬЕ



ВОЙТ СОДОМА

ВЕЛИКИЙ КУТЮРЬЕ

СБОРНИК РАССКАЗОВ

Блядь

Ужасная блядь ничего из себя не представляла. Продавала своё тело за умеренную цену рынка. В её каморке находился большой стационарный телефон, который она брала, если на него звонили, и представлялась блядью. Её так и знали все вокруг, даже клиенты не обращались к ней по имени, которое, впрочем, она никому не говорила.

Пышные формы блядь использовала по назначению своему, преподавала более молодым блядям, как использовать свою грудь или вагину и получать за это деньги, и никогда не хотела рассказывать секреты. У ней было одно утверждённое в отделе правило, направленное на особо щедрых клиентов; бляди не знали его. Только старые бляди знали его.

Сутенёр однажды спросил блядь о её увлечениях и постоянной грусти, вызванной, видимо, потерей детей, на что блядь отмахивалась и отмахивалась, мол, незачем это вспоминать. Мне приятно было общаться с блядью наедине. О том, что я хотел поведать, не следует знать посторонним людям, никак не касающимся сферы проституции, да и сам сутенёр отзывался о моей идее нелестно, с пренебрежением и страхом рассекречивания. Однако первый шаг должен сопровождаться вторым, иначе идущий застынет на одной ноге.

Двадцать девятого августа некоего года блядь, как обычно, приехала на вызов старого, кожуристого мужчины, зашла к нему домой без стука (она имела ключи) и начала раздеваться. Половая игра длилась несколько десятков минут. После этого между блядью и клиентом произошла ссора, в ходе которой первая отказалась уходить из дома. Она плакала у него на кухне, умоляя убить домашних животных. Я попрошу остановиться…

Сценка на кухне

Отец вытер руки о фартук и присел на колени, чтобы пообщаться со своей доченькой. Девочка, стоящая перед ним, была желтоволосой и румяной, не пышной своим растущим телом, но и не худощавая запястьями. Глядя на девочку, можно было понять, что у неё всё в порядке с гормональной системой.

Вожделение

Она была очень активна и целовала его в губы при каждой возможности. Она смотрела в его глаза и шептала что-то внутрь, в губы, оттого он не разбирал её речь. Слюны было много, и она капала на постель серой мокротой. Девушку переполняло желание любви, которое она не могла правильно высвобождать на своего партнёра. Парень закатывал глаза и чувствовал себя глупо, когда девушка впивалась никак сухими губами в его губы, тёрлась щекой об его морщинистую кольцами шею и стонала, но совсем не от удовольствия, а от игривости. Стон за стоном раздавались в едва освещённой комнате. Лампа светила как бы для галочки.

Парень сжимал её волосы и тянул на себя, скрывая таким образом её лицо, и от этого ему становилось приятнее проживать этот момент; но почему он так смущался её лица? Да, оно было мокрое от слюны и предэякулята, однако не было лишено юродства. Девушка была взлохмачена и взбита, на её коже водянистыми бликами, неравномерно и некрасиво, падали какие-то странные линии, в чём, собственно, отражалось её лицо. И приятнее заниматься любовью в темноте.

Но постойте: если лампа светила как бы для галочки, девушка была бы обязана закрыть её поверхность чем-то личным, будь то нижнее бельё или пахнущий чем-то приятным зимний свитер.

Все эти лишние телодвижения парня — его чрезмерная жестикуляция и необоснованная пугливость — были, возможно, симптомом подавленных в детстве сексуальных расстройств. Парень посмотрел много кино для взрослых, но не научился ничему реальному.

В какой-то момент парень насадил девушка на себя — она вскрикнула очень вожделенно, — и начал насиловать её. Но девушка этого не понимала.

Он продолжал это до самой ночи, не зная, что насилует и себя тоже.

Мода

Модным было одеваться раньше. Сейчас же настала совсем иная мода. Мы предпочитаем голое тело одежде, связывающей нас добровольно. При этом мы не касаемся натуризма. Мы маринисты. Нас много и каждый из нас щеголяет бумажной салфеткой в ресторанах и колбасных отделах. Зачем закрывать собою мир, если можно просвечивать?

Суд

Молодой повар, что особенно умело готовил сашими, полностью отрицал свою вину. Однако японский судья что-то подозрительно молчал уже несколько минут.

— Вы нашли труп, — начал японский судья, — возле ресторана «Квако», совсем трезвые, готовящие… как вы сказали? — сырую рыбу...

— Сашими, — сказала незнакомая никому девушка. Судья посмотрел на неё.

— Да, верно, так, — пробормотал судья.

Молодой повар был чем-то напуган. Неприятно пахла рыбья слизь на пальцах, которые он не успел утереть тряпкой на своей кухне: его слишком внезапно выдернули.

Он сказал:

— Уважаемый судья, я действительно был трезв. Вы хотите упрекнуть меня в том, что я был пьяным, когда нашёл труп? Вздор… Простите, но я не пью алкоголь.

Японский судья гладил свои костлявые запястья.

— Это было ночное время суток, повар? — сказал японский судья.

— Это была ночь, — ответил повар, — и тогда я находился на ночной смене в ресторане «Квако».

— Что же делали там?

— Готовил, право. За несколько минут до нахождения трупа меня уведомили о заказе сашими; я начал готовку.

Девушка, сидевшая рядом с судьёй, нервно поправляла коричневые волосы, заплетённые в узлы, подобные скорее изломанным и искалеченным пальцам, чем узлам. Кажется, её зовут Исидзиё, думал повар, он слышал что-то созвучное с этим именем в начале судебного процесса.

— Вы готовили сашими; кому вы готовили сашими? — спросила Исидзиё.

— Я не обязываюсь знать заказчика в лицо, — ответил повар. — Моя задача завершается на том этапе, когда еда попадает на поднос официанта.

— Кто был официантом конкретно этого блюда? — спросила Исидзиё.

— Я не могу ответить на этот вопрос. Мне неизвестны подробности о персонале в ту ночь. Прошу взять на заметку, что моё рабочее место, то есть кухня, полностью отделено от самого ресторана, где питаются люди. Я не могу видеть, кто забирает заказ так же, как не могу знать своего заказчика.

Исидзиё делала вид удовлетворённости, надменно смотря своими узкими щелистыми глазами. На её языке крутилось какое-то слово, губы дрожали.

— Что же, — встрял японский судья, — эти подробности… не столь важны. Вы, — обратился он к повару. — Расскажите, при каких обстоятельствах был найден труп? Что побудило вас выйти через чёрный вход кухни, где в ту ночь вы приготовляли… сашими, и когда вы вернулись обратно?

Повар с минуту молчал.

— Кажется… я не помню этого, — наконец ответил повар, превозмогая непонятную внутреннюю тошноту. — Однако-таки да: что меня побудило выйти?.. — возбуждение.

Говоря это, повар смотрел в глаза японскому судье.

Исидзиё прекратила пронизывать своими пальцами волосы.

— Что вы имеете в виду? — раздражённо спросила она. — Выражайтесь более понятно для суда.

— Возбуждение, — повторил повар, — возбуждение, пожалуй… оно лучше всего передаёт собственную суть произошедшего тогда. Я ведь могу быть полностью честен?.. Меня переполнило возбуждение. Я ощутил, как мозг покалывают тысячи тупых игл, и эта боль… тогда неприятная, доставила мне удовольствие.

— Какое удовольствие? — спросил японский судья. Он был очень худ и смотрелся стянутым кожей.

— Вожделенное, судья, — ответил повар с придыханием. — Необыкновенное, неведомое мною ранее, судья, удовольствие. Я ощутил его внезапно, когда нарезал рыбу… Сашими состоит из тонких ломтиков...

Японский судья посмотрел на Исидзиё. Она потупилась и слегла пожёвывала свою нижнюю губу, что-то представляя. Но что она представляла?

— Суд не понимает вас, — неуверенно произнёс японский судья. — Это внезапное возбуждение возникло беспричинно?

— Не могу знать, — ответил повар.

— Я думаю, — вмешалась Исидзиё, — это сексуальное возбуждение возникло от нарезания рыбы. Есть такое извращение.

Повар покраснел и почесал дряблую щёку.

— Извольте, — сказал он, — вы шутите. Возбуждение, что нашло на меня в ту ночь, совершенно беспричинно. Моё половое влечение, поверьте, истощилось бы, если бы каждый день, что я проводил на работе за нарезанием мяса, влёк за собой возбуждение… И, прошу отметить и это тоже, что возбуждение той ночи было абсолютно новым и неестественным. Это было не сексуальное возбуждение, судья.

Японский судья кивнул в ответ на пустотную речь подсудимого. Исидзиё громко глотала слюну; неприятные щелчки сбивали повара с мысли.

Она спросила:

— Как же оно на вас повлияло?

— Я становился беспомощным. Работа валилась из рук: нож не держался, соскальзывал. Чистить рыбу стало мне противно. Я бросил всё

на пол и попятился назад… в некоем бельме, что появилось перед глазами… ударился, помню, затылком о выступающий зажжённый фонарь под потолком...

— Вам стало плохо? — спросил японский судья.

— Что-то настигло меня, — продолжал повар, будто не слыша никого, — и заставило меня выйти из ресторана. Я покинул его через чёрный вход. Несколько мусорных баков я увидел сразу, как только вышел, но кромешная тьма той ночи, — как-то пугливо отметил он, — не дала мне в полной мере рассмотреть местность. Вдали находилось шоссе, по нему редко проезжали автомобили. Я резко пошёл прямо. Упёршись в мусорный бак, меня слегка отрезвило… и я открыл бак. Перед глазами, конечно же, до сих пор была та белая тьма; виденное мною было слишком смутным.

Исидзиё подавляла менструальную боль, и взгляд повара заметил это.

«Что с ней? — пронеслось у него в голове».

— Судя по вашему описанию, вы были не в себе, — сказал японский судья, с сухим скрипом потирая кости в ленивом ожидании.

— Вполне в себе! — сказал повар.

Исидзиё скривилась. Повар улыбнулся кончиком губ.

— Перейдите к сути дела, — сказал японский судья, — а именно к моменту обнаружения трупа. Расскажите: положение трупа, его состояние (были ли на нём какие-нибудь повреждения?), пол, вероятный возраст. Вам предоставляется право свободного рассказа.

Повар как бы прослушал японского судью. Совершенно более насущным были, что казалось довольно странным, поведение Исидзиё и мимика, хоть и сдерживающаяся, но так явственная на холодном лице. Её коричневые волосы волнообразные и чистые, чем-то пахнущие. Возможно, песчаным светом, набухшим, пропитанным пещерным одиночеством. На красной стене висела её фотография: Исидзиё улыбается, на ней белая рифлёная юбчонка.

— Прошу смотреть сюда, — строго начал японский судья, — и только сюда.

— Труп я обнаружил сразу, как только открыл мусорный бак. Тело… ну, важнее всего сказать, что оно лежало в довольно человеческой позе...

Молчание, повисшее после слов повара, чем-то обеспокоило японского судью.

— Продолжайте, — с заглушённым удивлением разрешил он.

— Труп был одет. Под выражением «тело лежало в человеческой позе» я имею в виду, что не было заранее исправлено руками. Я считаю, что тело поместило туда себя само, без постороннего вмешательства.

Японский судья искривил улыбку в свином голоде:

— Что же вы такое говорите? Труп сам поместил себя в мусорный бак, вероятно, и закрыл себя там, вероятно, так же самостоятельно.

— Да, судья.

— Суд вас не понимает, — сказал японский судья.

— Простите, повар, вы сейчас понимаете, что говорите?.. — хрипло и слабо спросила Исидзиё. Верным будет предположить, что спазматическая боль не прошла, а молчать столь долго ей не представлялось приятным.

— Я не понимаю суд, — как-то внезапно сказал повар. — Мне несложно, впрочем, повторить сказанное. Речь идёт о моей свободе.

— Повторите, — сухо сказал судья, растягивая жилистые руки.

— Что ж, я могу: я судорожно открыл мусорный бак. Белая мгла перед моими глазами не дала возможности сразу опознать лежащее там. Как только развиднелось, я обнаружил, опять-таки, труп. Труп мужчины, одетый в чистое, глаженное, не порванное платье. Тело было маленьким, посему помещалось в мусорном баке полностью, без согнутых коленей. Мне показалось, что это обычный мужчина, возможно бездомный, что заснул в мусорном баке. Однако прошло несколько минут — к тому времени в глазах совсем уж стало ясно, и я сильно сжал щёки мужчины. На его бледном лице не отлилась кровь. Она походила полностью на сало.

— Прошу! — перебил повара японский судья. — С какой целью вы сжали щёки мужчины?

— Не знаю.

— Вы не можете объяснить свои действия? — удивился японский судья.

— Верно, так.

— Это ещё один признак, — вмешалась Исидзиё, — того расстройства, не только психического, но и полового, о котором подсудимый упоминал в начале рассказа.

Повар уловил едва дрогнувшую нижнюю губу её; менструальная боль плыла откуда-то снизу, намереваясь полностью поглотить девушку, а её лицо старалось не двигаться и, как будто, покрыться каменной корочкой.

Неразборчивое мычание японского судьи и улыбка, замеченные боковым зрением, заставили повара прийти в себя. Он выдохнул, пропустив слова Исидзиё внутрь.

— ...Убедившись, что мужчина мёртв, — продолжал повар, — я потерпел резкое изменение в сознании. Мне стало очень холодно и зябко. Слизь рыбы не застывает долго, и тогда она тоже была на моих пальцах невыносимой, противной влажностью, которую я хотел было слизать… но понимал, что глуплю… В общем, вожделение прекратилось, — он странно посмотрел на Исидзиё, — что, возможно, станет для суда причиной прекратить также свои иррациональные домыслы насчёт моей половой жизни.

Японский судья наблюдал, как под кожей двигались кости его рук.

— Да… — отсутствующее начал он. — Что ж, это принимается судом. Вам не кажется требующим психиатрической помощи состояние, о котором вы ведаете? — Он что-то писал на белой, точно мел, бумаге.

Исидзиё глубоко дышала. Повар неустанно замечал оргазмическое

подобие закатывающихся глаз, смотрящих или, правильнее сказать, пытающихся смотреть выше судебного процесса над каким-то странным, глупым и мрачным поваром.

— Этот труп, — продолжал повар в улыбке, — я нашёл, конечно, за день до смерти: ничего ещё не подгнивало, но трупный образ прослеживался в нём. Я хочу отметить суду, что к трупу мужчины прикасался всего лишь два раза; о первом я рассказывал… Второй раз моё прикосновение было, конечно, возможно, и лишним, но в тот момент я очень настоял на этом внутри себя — я вытер свои пальцы о платье мужчины. Они стали чистыми.

— Вы надругались над трупом, — сказала Исидзиё.

В зале суда сгущался закат. Неясно было, почему все до сих пор остаются здесь.

— Это вздор, — с усталостью оправдывался повар. — Вам стоит мне верить.

Исидзиё отвернулась и по-змеиному бросила волосами. Повар, видевший всё это, улыбался зубами, так, чтобы это не отразилось на лице.

Японский судья медленно встал со своего места. Худощавая тень пала на скамью подсудимого.

— Суд считает важным признать затянутость процесса… — сказал он.

— Мы обречены, — вскользь сказал повар.

— Совсем неважно, сколько времени идёт процесс, — унывающим голосом сказала Исидзиё. — Давайте продолжим суд.

Японский судья смотрел вдаль, потом смотрел на закат, опадающий медленно и плавленно на город, а затем сел. Он был очень уставшим и зажившие раны его снова кровоточили.

Он сказал:

— Что произошло дальше? После того, как вы обнаружили труп. Может быть, вы звали людей, кричали?

— Нет, я не кричал и никого не звал. Обнаруженный мною труп остался там лежать…

Исидзиё усмехнулась:

— С какой целью вы оставили там труп?

— Не знаю, — ответил повар, — право. Я просто хотел вытереть руки. Этот мужчина, точнее его труп, стал полезен.

Исидзиё захотела деловито рассмеяться, однако скрутило живот. Она сгорбилась и незаметно гладила перистальтику, что, конечно, замечал повар каждый раз, когда рассеянным взором осматривал тёмный, совсем уж неосвещённый закатом, судебный зал.

— Вы хотели смеяться. От чего вы хотели смеяться? — спросил японский судья. — Вам было смешно от трупа? Или от того, что вы вытерли об него руки?

— Нет, мне не было смешно от этого. Причину, полагаю, назвать не

смогу… Хотя бы потому, что затрудняюсь ответить сам себе, лично. Ввиду смущения мне лучше промолчать, уважаемый судья.

— Это, как вы говорите, вздор, — сказал японский судья. Он вновь рассматривал свои фиолетовые вены на руках, переплетающиеся в петли и ветви. Повар замечал это.

Исидзиё замечала это так же; приходилось брать ораторство на себя, ноющую от боли и бедную.

— Вы касались трупа всего лишь два раза… — стонала она. — Но почему не три? Ведь зная о ваших отклонениях, можно предположить и не ошибиться в том, что вы трупа домогались. Ведь вспомните… Вы нам рассказывали, что вытерли об него руки. Надругательство над телом порой страшнее убийства. Вы слышали про такое?

— Нет, не слышал. Впервые услышал это только что от вас, — глупый вздор.

— Каким вы помните труп? — спросила Исидзиё, кажется, от бессилия, чем от разбирательства.

— Я уже говорил. Белая бескровная кожа. Слегла жёлтая она была на нём.

— Как вы трогали труп? Какими пальцами трогали его щёки? Вы упоминали, что трогали его щёки.

— Трогал, да, правой рукой. Ну, конечно, правой. Какой же ещё я могу трогать труп?.. Не знаю. Большим и указательным пальцами я сжал его щёки по обе стороны, пальцы, помню, провалились в щёчные дыры.

— Какие ещё дыры? — недоуменно спросила Исидзиё.

— Позвольте?.. Вы не поняли меня?

— Нет, подсудимый, я вас не поняла. Какие дыры?

— Я бы показал наглядно, но не имею возможности… — если прорезать ножом щеку и глубоко всадить лезвие, то кончик ножа выйдет в ротовую полость. Щекой именуется кожа, обтягивающая… — ну, скажем так, перепонка, обтягивающая пространство между челюстью и пазухами. Эта плёнка называется щеками.

— Господь с вами! — воскликнула Исидзиё с какой-то жалобной тоской. Она смотрела на японского судью в надежде встрять того в разговор, но он не двигался и писал что-то на белой, точно мел, бумаге. Очень белой бумаге.

«Ослепительно белой, — подумала Исидзиё».

— Я знаю, что такое щёки, — продолжала она, — и теперь знаю о так называемых щёчных дырах. Какая глупость, не правда ли? — она обратилась к японскому судье.

— Да, — буркнул он. — Какая глупость. Повар, скажите суду, зачем вы убили этого мужчину? Кем он являлся вам? Какова же причина убийства?

— Я не убивал его, — спокойно ответил повар.

Глазу стало заметно потемнение, появившееся в зале заседания из-за окончания заката. И все находившиеся здесь казались скульптурами, подогнанными под определённый рельефный свет. Одна сторона чёрная,

а другая ещё чернее. Но что же тогда писал японский судья?

Исидзиё позволяла себе двигаться и принимать иные позиции, кроме как ровной и строгой; повар не мог этого видеть.

Японский судья, думал повар, хотел сбежать куда-то далеко, но не мог. Его обременяли работа и это помещение. И темнота за окнами не предвещает ничего хорошего. Зачем же ему покидать судебный процесс? Ради чего делать это?

Исидзиё смотрела тревожно за окна, и японский судья смотрел туда… Один только повар глазел на себя в отражении мокрого пола.

— Уважаемый судья, прошу выслушать, — сказал повар. — Пол под моими ногами мокрый. Я вижу себя в нём… но не таким, каким себя знаю. Что-то новое в очертаниях, например, носа. Не помню его таким вострым. И уши не узнаю: не были они такими большими.

— Полно, подсудимый, — не отрываясь, говорила Исидзиё растеряно. — Это всего лишь искажение, присущее воде. Какие глупости, какой вздор!.. Просто прекратите думать о чём-то... Совсем боимся покидать это место… Я не ощущаю себя частью этого места, я ощущаю себя чем-то цельным.

— Глупости… — соглашался японский судья, не моргая и не кивая. — Мы все тут говорим глупости. Однако же, повар, вам будет полезнее и нужнее признаться в убийстве; тогда судебное разбирательство кончится и… мы пойдём... домой!..

Японский судья ужаснулся своим последним словам.

Исидзиё испугалась и вскочила, по спине прошла дрожь.

— Домой! Вы сказали «домой»… — не поверила она. — Как страшно это слово, согласитесь. А где наш дом? — Она остановилась. — Разве он у нас есть? Те четыре стены, что нас окружают, — это наш дом? Но здешние четыре стены я не могу назвать своим домом. Как же, как же? Никогда здесь не жила и никогда не хотела здесь жить. Тут нет даже фонаря! Я вообще ничего не вижу.

— Я вас понимаю, — сказал японский судья. — Я вас старательно не замечал, но сейчас понимаю, сейчас я желаю вас заметить. Вы говорите о чувстве, в данный момент переполняющим меня. Ещё чуть-чуть, и рвотой оно выльется. Мне дурно… Выпустите его! Выпустите его! — вдруг завопил японский судья, бесполезно впотьмах указывая пальцем на повара. — Снимите же замки, отворите перед ним двери! Куда он нас загнал? Кто ему позволил лишить нас дома? Мне снилось, что он общается с существом Ипзилипутом, и после его слов, каких-то дурных слов! — все мы начали умирать. Меня рвало. Вас, милая девушка, убивали спазмы. Потом вы рожали на изорванном мною полу. Рвота была кроваво-красная. Кроваво-красная рвота беспрестанно лилась из меня…

Исидзиё кивала с тем же нарастанием, с каким нарастала речь японского судьи. Она буквально-таки сорвалась с цепи и, смеясь, скривив лицо в чём-то похожем на улыбку, говорила:

— Господи, кто держит его при замках? Немедленно, немедленно!..

Выпустите повара! Не он был в заточении сейчас, а мы. И не он нас закрыл, а мы его!.. Пожалуйста, — упала она на колени, — прошу тебя, Господь! услышь меня! Прекрати же этот судебный процесс, я не могу выносить его более. Этот человек неисправим и не нуждается в каре. Мы только лишь вши. — И сглотнув, продолжала: — Никто не заслуживает моей участи. Ведь он всего лишь предвидел это, как сновидец сны.

Японский судья подошёл к ней и обнял её. Исидзиё затрепетала в его объятьях.

Они завыли, задрожали вместе, словно в вымученном хоре:

— Этот суд слишком Страшный… Этот суд должен быть остановлен…

И, подбежав к скамье подсудимых, они обнаружили только свежую лужу воды. Повара не оказалось там, в темноте зала, в клетке. Замок не был тронут.

Лесные

Я помню, как меня нервно будил Апрофьев.

— Вставай, — говорил он, избивая меня по щеке, — вставай же. Приехали! Они приехали!

Меня пронзил холодный смутный страх. Кто «они»?

— Кто, кто приехал? — отвечал я сонный.

— Лесные, — отвечал он мне раздражительно. — Почему ты всё ещё лежишь?

Я помню, что встал и начал одеваться. Первым делом натянул штаны, а после белый свитер.

Апрофьев заметал в гостиной.

— И что?.. Лесные приехали? — недоверчиво говорил я. — Как же… Это нам не на руку!

— Не на руку! — дразнился Апрофьев заметая.

Я не помню, что было дальше… Но Апрофьев неумолимо заметал. Пыль летала по квартире. Я посмотрел за окно и увидел, как в ночном кошмаре отражается моё лицо, всё в тенях от света лампы.

— Ещё же ночь, Апрофьев!

— Ночь! — кричал он, как бы изнывая от моей глупости, — ночь; приехали, на свою голову! Дураки! Не сиделось им.

Я был в странных раздумьях: не знал, что делать. У стенки, рядом с оружейным киотом, стояли холостые ружья. Под потолком висели петли и травы, которые при уходе забыла забрать Оли.

Я подбежал и схватил ружьё.

— Встречать будем! — вскричал я.

Апрофьев кинул в меня веник. Стало больно.

— Не дурачься, чёрт! — устал Апрофьев.

— Я не валяю дурака, Апрофьев! — кричал я, поднимая веник.

Апрофьев подбежал и с нескрываемой злобой выхватил у меня веник. Спустя несколько минут он кончил заметать. Потом он уставился в окно и, подобно мне, удивился ночи, подчеркнул красоту своего лица в игре света и тени, подмигнул.

— А знаешь! — воскликнул Апрофьев, не отрываясь от окна, — лесные не такие уж и страшные. Мы встретим их! действительно, встретим! Ну! навостри ружьё, боец!

Мои пальцы нашарили несколько патронов-гранул; холостые, они были наполнены смесью из соли и самодельной помпы. Я зарядил ружьё.

— Отлично, Апрофьев! — улыбнулся я в пароксизме радости и прижал приклад к плечу.

***

Я помню, будто во сне, что после трёхчасовой уборки и речи Апрофьева, в которой, несомненно, было через чур много нелепых лозунгов и агитационных призывов, лесные отворили нашу дверь. Сперва показались их заболоченные, кишащие слепнями стволы, а затем мои выстрелы задели в них что-то печальное, и они не смогли сдержаться от ругани.

Экзистенциальный кризис на пароходе

I

Всё было готово. Туристический пароход стоял пришвартованный.

Я знаю, что было много людей. У всех у них с собою сумки, багаж, чемоданы и ручные клади. Сколько ненужного дерьма люди готовы сложить в них, чтобы утолить своё навязчивое тревожное сомнение в том, что этот туристический отпуск будет не последним в их жизни.

В порту серело небо. Опять-таки, возможно, я вру сейчас, говоря, что небо было серым, так как слово своим значением лишь наполовину отражает настоящее в этом порту. Я очень намереваюсь попробовать описать цвет неба: слияние, безусловно, чёрного и белого цветов, но в конечном итоге не получившее серый. Почти как море, отражающееся небом, только без голубого напускного оттенка. Словно поломанный корпус старого телевизора, со своими царапинками и чёрточками. Если тучи и были, то слипались.

Отличным будет отметить, что люди кидали на небо свои беспризорные взгляды, свои хаотичные и оскаленные взгляды, и молились.

Не знаю, когда закончилась погрузка. Мне казалось, что она длится вечно, и я даже не нёс свой багаж.

У меня болело сердце. Чёрт его знает — почему? Погода, может быть, так давила на меня, или внешние обстоятельства. В тот момент я и не старался разобраться в этом. Я отдавал пристальное внимание людям и небу. Обе эти материи чем-то влекли меня. Я хочу вновь уделить время описанию небес.

Господи, насколько ничтожен любой язык? Даже при переводе никто не способен подать правильный пример. Небо, точно кремовые вершки, размазанные пятками стремглав пронёсшегося человека. Или — вот сейчас меня посетила мысль (на самом деле, меня не посетила эта мысль) — как часовая стрелка часов, медленно тающая где-то около солнца, от высокой температуры, как я полагаю. Или накрошили хлебом, и слетелись голуби, и голубей расстреляли картечью, а вся их кровь вошла в поток дождя и поплыла в канализацию; я понимаю, что иногда не совсем ясно сравнение, однако в последнем случае цвет в головах должен был приобрести процесс, а не последствия.

Меня тронуло чьё-то плечо и глаза мои открылись, как ото сна.

— Багаж? — маленький, сутулый погрузчик, полотёр по совместительству, спросил меня, шмыгая носом. Он казался мне фигурой вышедшей из далёкого советского кино. Лицо его было сдавлено старостью сорока — пятидесяти лет. Киргизские глаза, обведённые морщинами. Что-то я засмотрелся на его рот, не помню… Он плохо брился, торчали волоски. А на ямочке под носом, которую я

именую половой плотью ангела, были шрамы. Как же он плохо брился…

Потом он толкнул меня ещё раз… Погрубели его черты лица. Мой милый азиат, думал я, что ты ко мне пристал? И я ведь не слышал его слов!

Он повторил их ещё раз своим исковерканным диалектом русского. Показались зубки. Смешались, на этот раз, коричневый и жёлтый. Зубной налёт полотёра выцвел и поблёк. И, поверить мне на слово, все эти описания изнуряют меня.

Я стоял посреди порта и наблюдал за погрузкой, не видя полотёра перед собой. Он взял меня за лоскут ворота. Из глубины моего желудка поднялась или тошнота, или ярость. Я очерствел кулаком и со всей дури, словно безголовый, влетел костяшками в его смуглое, противное мне лицо. Звук размозжённых пазух раздался… и полотёр упал, как сражённый насмерть. Он в ужасе взялся за ушибленное место, его нос начал вдыхать всё интенсивнее и интенсивнее, когда понял, что сломан… Кровь заполонила пазухи и избавила от храпа. Киргизская, как я полагаю, шваль — но никто не дал мне аргументации, что это действительно киргиз, а не тот же якут или бурят, — проглотила кровь сгустившимся комом. Это прозвучало так мерзко, что я отошёл. Чёрт бы его побрал.

Тогда меня впервые пробрала экзистенциальная дрожь. Я побежал. Багаж остался позади, да и вообще я не помнил, где он.

Порт, словно взлётная полоса — места много, всё горит и блестит от непонятной влажности, непонятно, откуда берущейся в портах такого типа. Я набирал скорость и вдыхал свирепый разгорячённый (точнее, стылый) воздух ветров.

Потом раздался гул и пар долгим накоплением газов вылетел из труб. Мне показалось, что это поют киты, и я остановился; пароход же трогался с места. Я тут же обвёл взлётную полосу глазами и увидел одного единственного сторожа-матроса, стоящего у пирса.

Я помню, что избил его до сильного кровотечения. Оно не останавливалось, сколько бы я не давил на шею. Помню, стоял, а лужа под моими ногами вырастала, будто из зерна посаженная. Опомнился я лишь тогда, когда мои шаги стали скользкими и хлюпающими — кровь залила подошвы моих сапогов. Мне, впрочем, повезло, что одежда сторожа-матроса была полностью чёрной, и пятна крови, которыми были вымочены жакет и штаны, нельзя было разглядеть вот так легко.

Я переоделся. Матрос был ещё жив, что меня смущало. Вокруг ходили люди. Я не мог себе позволить, чтобы всё это вдруг раскрылось! Последующий труп я связал прочным морским тросом и выбросил через небольшие прорехи в металлическом заборе; но с меня капала кровь. Она скапливалась внизу, в рукавах и штанинах, отчего я, как глупая собака, выжимал из них все соки.

Я плюнул на руки и обмыл их. Небо совсем уж заволокло паром парохода, на который я не успевал. Потом я побежал. У меня жутко болела спина.

Переодетый в рабочую форму, я вошёл на пароход своим обычным размеренным шагом, не привлекая внимания остальных сторожей-матросов и туристов. Все стали мало-помалу занимать свои корпуса: вот небольшой отряд сторожей вёл около ста человек в самую корму парохода — место, где находились обустроенные каютки, туалет и прочее. Спальный район, так скажем, простирался дальше, чем до середины судна. Затем шла резкая дуга вниз, отделяющая туристическую зону от служебной; стояли небольшие аванпосты… Совсем тяжело описать то, что так умело скрыто уже коричневым — не серым — туманом, видимо, наступающего вечера. Пароход надымил сполна. В волоките начавшегося отпуска сложно было найти себе место, поэтому я и совсем не знал, куда мне отправиться.

Основным моим маршрутом первые часы была небольшая выгнутая дорожка, ведущая от швартов до арочного прохода под кухней — кухня здесь — это, если выражаться понятным образом, специально отделённая от служебной и спальной частей зона, в которой компетентные работники разделывали рыбу, чистили овощи, нарезали продукты и готовили всё это и предоставляли в обеденное и вечернее время в отведённой столовой; она располагалась в метрах сорока от кухни.

Дорожка моя, о коей я писал ранее, заканчивалась у стальных ворот с китайскими плакатами. Я помню дракона, который на меня смотрел, извиваясь статично; словно он намекал взглянуть на свою одежду и заметить влажность. Меня начинало трясти и я бессмысленно оттирал одежду.

К тому моменту пароход отплыл от суши на значительное расстояние. Я не знал, куда он направлялся; и люди, наконец-то, разбрелись по своим затхлым каморкам. На палубе оставалась тогда только служба.

Я бродил так очень долго. Некоторые сторожа-матросы даже интересовались, почему я так странно себя веду, на что я отвечал им что-то невразумительное и до ужаса простое; парочка из них давила усатую улыбку и брала на заметку, что я весел.

Потом начались гонения. Капитан парохода вышел и приказным тоном стал управлять юнгами, которые — удивительно! — выполняли здесь роль профессиональных моряков: они спускались вниз, до ватерлинии, и очищали судно от моллюсков. Помню, что уловил и такую ситуацию: девчонка, совсем юная, надевшая служебную форму навыворот, утирая румяные щёки солёной водой, залезала по мачте и развешивала огромные китайские полотна; похожие я упоминал у входа в кухню; но мы ведь не находились даже в пригороде Китая!

Я грыз ногти.

Настал вечер; его я так долго ждал. Капитан скрылся где-то глубоко, за своим штурвалом, и не донимал службу, все ходили раскрепощённые.

Я помню, что смотрел на небо. Оно приобрело невероятно красивый буро-розовый цвет, будто грязной розы. У кормы парохода я слышал

весёлый гам и видел яркий, но бушующий свет, излучающийся фонарями. Понятно: туристы. Часть же служебная ничем не выделялась. Только я осмотрел полутёмную, чистую и пустую площадь, по которой изредка проходили занятые матросы, на верхнем ярусе аванпоста включился фонарь, тусклый и мерзкий. Я подумал, что он и вовсе не нужен здесь. Однако кто послушается моего слова?

Кровь высохла совсем уж. Прозвучал горн, собрались служащие — это открылась столовая. Я помню, как болели мои уши от фантомного гниения, когда открывались массивные врата; в лицо нам всем, матросам-служащим, ударили красный, жёлтый и белый цвета. Я узнал в интерьере кухни китайское вдохновение, и я снова грыз ногти от непонятного ужаса, и я вновь ощущал пот на спине, и кровь, которая, как я думал, высохла, вновь тяготила мою одёжу… Я сгрыз ногти до мяска и прошёл внутрь. За нами закрылись двери.

Слева прошли маленькие англичане; им никогда не дадут сложной работы: сломают ещё что-нибудь. Справа, прорывающуюся вперёд, я заметил девчонку. И почему-то мои губы открылись примерно в тот же момент, когда я подумал крикнуть приветствие.

— Привет! — прозвучало от меня тихо, почти неслышно в топоте и усталых разговорах. Однако она меня услышала и повернулась.

II

Я увидел её лицо, сперва беззаботное, а затем чем-то обременённое. Впрочем, даже сейчас она смотрелась напуганным ребёнком или скорее ошеломлённым каким-нибудь зрелищем. На несколько секунд мне стало тяжело в груди и я поспешно двинулся вглубь кухни.

Я чувствовал на затылке влажные волосы и взгляд девчонки. Нужно узнать её имя, думал я, поэтому стал поодаль проходящей толпы и выслеживал её, маленькую по сравнению с другими и кроткую до ребячества. Девчонку было очень легко заметить. Но не успел я опомниться, как наглая рожа официант подошёл ко мне сзади и, до глубокой глупости держа на ссохшейся ручке белое полотенце, ткнул пальцем в меня. Я мгновенно обернулся, точно напуганный чем-то. Официант сразу увидел в моих глазах недоброжелательное приветствие, а я в его — занудность и рутинность.

Как я думаю уже сейчас, официант попросту не был готов увидеть во мне странную, ничем не обоснованную злость и грубость, и оттого опешил сам.

— Садитесь, садитесь, — говорил официант.

Я отпрянул.

— Я занят, — сказал резво.

Отвлечённый на официанта, я потерял девчонку в толпе. Ощущение, что появилось во мне тогда, в тот момент, не связано с экзистенциализмом. Высокие, худые, маленькие, толстые — все попадались мне под глаз, но только не девчонка.

— Садитесь же, садитесь! — настаивал официант, всё больше угождая своим обязанностям.

Но я не слушал его. Он перерос свои полномочия и начал трясти меня за рукав, чувствуя себя, непременно, высоким существом. Непременно более высшим, чем я в этом помещении. Его поведение чем-то напомнило мне того полотёра, которого я убил и осушил у пирса. Из толстой кишки оранжевым червём вылезло тошнотворное и снотворное возбуждение. Что мне хотелось? Я хотел видеть оранжевую кровь. Словно выдавленную из гнилого помидора или свежей морковки. И я сдавил его сухое горло своими мокрыми пальцами. И я надавливал всё сильнее, пока возбуждение не обернулось в моём желудке спазмами, горячими-горячими спазмами. Что-то остановило мою руку, я отбежал к заправленным белой скатертью столам.

Люди расселись там аккуратно и строго вымощено некими кирпичными плитками, и мне думалось, что каждый из них является связующим строительным материалом. Удивительно, что в голову мне пришли именно такие сравнения, удивительно! Конечно, люди — никак не стройматериалы.

— Садитесь! Что вы стоите, как истукан? — рассмеялся официант и потянул меня к единственному ряду свободных стульев. — Проходите, проходите, занимайте же, занимайте!

Я вновь отпрянул, но в этот раз очень жёстко и яро, словно озлобленная рысь, я кинул на него свои глаза и побежал.

В меня дуло парким воздухом. Англичане передавали над своими головами выпивку и смеялись, как крокодилы. На меня зыркали из-под лба, как на дурака. Зрение немножко покосилось и я потерялся, остановился, присмотрелся: маленькая фигурка девчонки показалась мне знакомой. Потом я увидел форму, которую она не удосужилась переодеть, нелепо натянутый матросский берет. Мои ноги сами побежали к ней.

Я подсел. Она сидела за столом, положив свои аккуратные ручонки ладонями вниз. Её голова гуляла, а эмоции на лице не соответствовали движениям.

— Привет, — радостно сказала она и расслабила спину; стала выглядеть естественней.

Ответил ей:

— Привет. — Моё приветствие выглядело таким сдавленным, что девчонка в него не поверила. Я понял это по её лицу.

— Меня зовут Мики, — сказала она и выдавила ямочку подле своей улыбки. — Я сторож-матрос здесь. Не смотри на то, что я выгляжу немного наивной. Все мы по-своему детки, правильно? — и она сделала лицо настолько искреннее, настолько лёгкое и девчачье, что всё внутри с шелестом развязалось и освободилось.

Она отвернулась с ухмылкою, глядя в стол, и уже потянулась к еде. Но я видел, что за маской своей она по-прежнему выдерживала интерес. Она зыркала на меня.

Я произнёс вслух то, что не хотел произносить. Не помню что. Мики перестала улыбаться и серьёзно взглянула на меня.

И меня пробрал экзистенциальный жар. Я его не ощущал никогда прежде. Мики заметила это и обняла меня. Тепло её тела я почувствовал гораздо жарче, чем экзистенции, хотя температура её не превышала тридцати шести градусов по Цельсию.

III

Мы обнимались долго. Затем мы обедали и говорили о чём-то облачном.

Кухня была огромной и горела всеми возможными красными лампадами. Меня удивляла просторность помещения: длинные древесные столы, которые были укрыты белыми скатертями, простирались до самого конца, до амбарных бронзовых дверей. Я засмотрелся на них и Мики позвала меня собираться, положив руку на моё плечо.

Мы встали. Удивительно было мне, когда я понял, что ужин окончен. Люди начали вставать из-за столов, складывать посуду одну на другую. В окнах, сделанных в образе иллюминаторов, было совсем темно. Я ничего не видел и моё тело покрыло, во мгновение, то состояние, которое ощущает зрелый моряк, глядя на чёрный океан и отсутствие берегов. Мики вновь поторопила меня.

— Пойдём, — сказала она, — нужно идти. У меня ночная смена, так что я отойду в другую часть корабля. А какая у тебя смена?

— У меня? Тоже ночная.

— А как тебя зовут? Невежливо ведь — как зовут тебя?

Я не нашёл, что ответить. Она заметила это во мне. Мики, улыбаясь мне, отошла в дальнюю часть кухни, пройдя через идущих против неё матросов. Открыла бронзовые двери поварской кухни. Я пошёл за ней, внутри меня как раз горела почка; сильно болела, такое бывает, когда я переживаю о чём-то.

Пройдя нужное расстояние и достигнув Мики, я окрикнул её имя тихим придушенным голосом.

— Да, вот и ты здесь. Я вошла сюда, — улыбалась она мне, — так как здесь работает один мой хороший друг, повар. Мы ели его еду. Он мне близок, и я решила навестить его.

— Конечно, — ответил я.

Повара, по большей части сплошь поражённые прыщами, толстые, вслепую развязывали фартуки за своими спинами. На нас они не смотрели.

Мики приблизилась к одному из них и зашептала на ухо. Они посмеялись. Повар стал ей что-то рассказывать, а Мики слушала внимательно, не смотря на меня, а смотря в пол, причём отсутствующим тупым взглядом.

Я не понял, что происходит. Пароход начал гудеть в моих ушах —

впервые за долгое время я, наконец, услышал это. И передо мной была кухня, в которую я имел право заходить. Подойдя к дверям с другой стороны комнаты, я увидел в окне более обширный зал, однако обустроенный почти так же, как и тот, в котором мы ужинали. Была пелена перед глазами. За дверями мне всё казалось глиняным, пустым и залепленным. Какие интересные люди. Маленькие, то есть ещё дети, рядом, под юбками своих старородящих матерей, подбирают непонятно откуда взявшиеся подносы с цветами. Ко мне пробиралась тошнота. Я начал сокращаться горлом и глотать, глотать, глотать. Я видел, ещё, синеватых монахов, которые, отслужив странную службу, толпились у выхода на спальные каюты; вот, вот, спальные каюты! Тошнота улеглась, когда я понял, что это кухня предназначена для туристов. Большое количество людей удивляло меня. На кого не посмотри — каждый заслуживает абсурдного описания и отдельного диалога их со мною.

Потом я сфокусировался на бронзовых дверях, гладил их шершавыми пальцами, хотел прикусить губой, не задевая зубами, все шероховатости. Когда тошнота вновь бурлила во мне старорусскими сказками, серыми и чёрно-белыми, похожими на сваи, радио и собачью будку, я оборачивался на Мики: милая и неосторожная девочка. На повара я не смотрел; мне было неприятно видеть его. Смотрел на Мики, на эту милую, неосторожную девочку. Вот она разгладила штаны на своём заду (кажется, по привычке человека, который носит юбки) и села на скамью, рядом с большими помеченными кастрюлями. Кухня было чистой, не грязной, не жирной — ухаживали.

Повара рассеялись кто куда, и мы остались втроём. Нет, вру: действительно, присмотревшись, в самом углу я заприметил маленького росточком повара, который с умным видом колотил и мешал наваристую юшку бульона. Нас было четверо.

Я представлял, как подойду к Мики и призову её идти за мной, в глубину темноты пустотной. Но я не решился.

В общем, я вышел на палубу со стороны матросской столовой, сперва освещённый яркими фонарями, а потом, плавно уходящий за какие-то непонятные цистерны, света лишился. Вхождение в темноту я ощутил прохладным ветерком, что обдувал моё лицо. Случилось мне остаться совершенно одному подле борта; точно сказать не мог, был ли я полностью один или в тот момент кто-то решил запрятаться от меня, — впрочем, это меня не волновало.

Когда мои глаза привыкли к темноте, я заметил над собою огромную дождевую тучу, даже не серую, а чёрную, как оно бывает при драматизме. Она плыла ровно и медленно по своему маршруту.

Незаметно для самого себя я упёрся о металлическую стену. Обернувшись, моя спина отдохнула от противного холода, который был похож на пот, а перед моими глазами предстала несообразная картина: огромная синяя цистерна, наполовину установленная в палубу, огороженная острым квадратным забором в сеточку, бросала от своей

поверхности контрастные блики и вызывала во мне морскую тёмную тревогу. Я сразу понял, что почва этой цистерны утоптана сомнениями, и усомнился; туристический пароход не был предназначен, это уж ясно, для перевозки таких странных грузов. Кто-то поступился храбростью и не указал на рифлёной площади цистерны, что в ней перевозят, и оставалось гадать. Что мне, честно говоря, не хотелось.

Я пытался не касаться более того места, уходя дальше и дальше, но из головы эта цистерна никак не выходила. Я даже хотел было проститься с покойными родителями, когда непонятные, переполнявшие меня осторожность и ломкость вылились через край густой кровавой слюнкой; я не испугался крови, впрочем; такое бывает, если мне страшно. Я с раннего детства реагирую… Точнее, мой организм — с раннего детства он реагирует на некоторые возбудители резко и страшно: тошнота, кровь, кишечные расстройства, потеря сознания, мания, фатальная бессонница. (Однако стоит признать, что основными моими симптомами всегда являлись первые три.)

Завывал ветер. Многие прозрачные вещи становились для меня цветными и оттого пугающими меня. Сгущалась темнота. Шумело море. Я чувствовал себя отделённым пингвином, на моём затылке словно вился зелёный перинный комок, а я находился на уплывающей и тающей льдине. В таком вот самоощущении я словил вдруг просвет в груди: он был, непременно, тёплый и смертный; так я видел его; и просвет этот предстал в моей голове образом Мики: девочка, натягивающая на маленькую голову большую матросскую каску, а потом, при виде строгого капитана, создавала ладонью козырёк, таким образом отдавая то ли честь, то ли уважение; и на её поясе висели разного рода инструменты; в её волосах, при наваждении, я увидел, может быть, даже осмысление, которое наделяло весь её женский образ полнотой. Такой она мне представилась, и это до глубины души поразило меня. Тот просвет я хотел бы сравнить с ударом раскалённой, жёлтой-жёлтой молнии прямо в сердце.

Я спохватился и побежал обратно, на кухню. Там, к моему великому сожалению, никого не было и уже тушили свет: сначала здесь, в дальнем углу комнаты, а затем вот тут, совсем рядом со мной гасла лампа.

Пользуясь неполным выключением света, я прошёлся к поварскому отделу лёгким шагом. Создававшееся впечатление о том, что мне было совершенно наплевать и что в груди моей не было тревоги, впрочем, было ложным — я переживал. Я лучше удержу страх в себе, подавлю и сожру его сухим, чем дам вырваться из рта и расплодиться.

Потом помню один только звук, который заставил меня подпрыгнуть на месте от ужаса, — гром, раздавшийся далеко; и, опять-таки, более я испугался именно звука, чем мгновенной вспышки света.

«Как вам уютно, туристы, — думалось мне каким-то мстительным голосом, — как вам уютно в ваших каютах, засыпать под дождь и гром зная, что любые опасности наземные для вас далеко; что ваша семья, возможно, с вами и получает практически такое же удовольствие, как и

вы; что вы можете мастурбировать и остаться незамеченными. Буржуазные клопы, клопики».

Я потерялся… Кто-то предложил мне кандалы и я протянул руки… Страшен был тот момент, когда я сопел в платок, сложенный аккуратно в три раза, и оттуда лились ещё влажные, не сухие, кровавые сопли. Действительно, слишком много крови в моём теле выходит за рамки дозволенного.

На каком-то странном движении я вдруг остановился и огляделся — меня никто не видел. Небо дышало на меня ветром.

Меня так всё озлобило, так всё надуло изнутри, что я начал тихо-тихо завывать. Походил я на маленького, запутанного в проволоке волчонка, не имеющего ни матери, ни отца, ни соплеменников рядом; всё, что было в моём волчьем образе — это карикатурная ужасная ярость. Карикатурной я обозвал её потому, посему она была скрытой и довольно аутистического спектра.

IV

Господи, это была вовсе не ярость. Меня поразил экзистенциальный кризис на пароходе.

Я нашёл вскоре Мики, она стояла у какой-то длинной деревянной палки и вязала узлы. Рядом с ней находились сторожи-матросы неприветливого вида; они улыбались, молча, не смеялись. Мики, глядя на них (она, вообще, смотрела на них крайне редко, как будто по какой-то внутренней необходимости), теряла прежний настрой, теряла ухмылку, и ухмылка-то, из лёгкой и робкой, превращалась даже не в натянутую, а искривлённую, как форма некоторых половых губ.

Сложно описать, что я подразумеваю под экзистенциальным кризисом… Гораздо легче показать последствия. Так всегда было в жизни.

В несколько секунд я разрезал всю дистанцию между нами, и Мики подняла на меня уже настроенный взгляд, то есть подавленный и желающий как можно быстрее спрятаться, однако тут же оживилась. Её пальцы стали делать чёрт пойми что и она бросила вязать.

Я был выше и смотрелся старше Мики. Она ощутила это и стала горделивой по отношению ко мне.

— Привет, — сказала она, нарушив тишину. После этих слов наступила обычная морская тишина — тишина, не включающая в себя шум моря.

И ответил ей я:

— Привет.

— Что ты делаешь здесь? Только освободился? да?

— Я и не был занят, Мики, — ответил я и приобнял её за плечи.

Мики испугалась и задышала чаще.

— Когда заканчивается твоя смена? — продолжал я.

— Через пять часов.

— Сколько сейчас времени?

Кто-то тёмный вошёл близко в нашу толпу:

— Я считаю, что времени не существует. Отвечая на твой вопрос: нисколько. Пустота, пустотное время.

Мики обернулась на него, посмотрела как на ребёнка. Я уверен, она подумала: «Какой ты глупый...»

— Я плохо себя чувствую, и решил найти тебя, — ответил я.

Человеком, который встрял в наш разговор, был заядлый красноволосый рыбак-армеец.

Я удивился, когда понял, что он из себя представляет.

— Не беда, — сказала мне Мики каким-то новым простодушным голоском, — можем сходить в корпусной отдел и послушать радио; мы проплываем недалеко от японских заводов.

— Ты думаешь, нам удастся словить нужную частоту?

— Почему бы и нет? — неуверенно сказала она.

Её глаза не светились в темноте, как у обычного человека, но были белыми. Её волосы были где-то заправлены вовнутрь формы. Мне хотелось стать восприимчивым к той толстой и зрелой любви, которая заставляет взрослых людей касаться маленьких деточек. Я уставился на её грудь и возжелал сжать её.

Но она, увидев мой взгляд на себе, отстранилась. Улыбка погасла на её лице с щелчком выключателя.

Возникло понимание того, чего наделал; я долго себя корил. Я пил корь из своего тела, как мёд сладкую.

— Пойдём, — взял я её за руку и повёл в корпусной отдел. Но я совершенно не представлял, где он находился, поэтому через какое-то время Мики вышла вперёд и вела меня.

Мы прошли пару влюблённых матросов, которые целовались с языком. Они попросили оставить их наедине. Потом темнело. Пока мы шли, ноги мои слабели, набивались и наливались жидкостью. Какой жидкостью — я понятия не имел. Возникали старые математические задачи. Потом возник рассвет. Конечно, не яркий и не светлый: так выглядит пепелище с ещё тлеющими бардовыми углями.

— Ещё совсем чуть-чуть, — сказала она, глубоко дыша огнём. — Выжди.

Мы вошли. Корпусная ничем меня не удивила. Я сразу обошёл тесно обставленную мебелью комнату в направлении радио, стоящего около клетки с попугаем. Попугай был синий и тихий; он не прыгал, не кусал палец, когда предлагали, и не кричал разного рода имена и вообще вёл себя так, как будто был мёртвым.

Мики взяла радио и насмешливо смотрела на это устройство.

Я же открыл клетку. Мои узловатые пальцы схватили попугая, и я сжал его в руке. (Услышал лишь, как кишки и желудок вспрыснули вверх по пищеводу.) Потом бросил в клетку; попугай упал рядом с пипеткой для водопоя.

Мики зарделась. Её тонкая фигура была освещена пасмурным

светом. Мне показалось, что она была готова отдаться мне. Когда её изящные пальчики что-то покрутили на фасаде радио, она тихо хмыкнула, и послышалась музыка.

Мне в жизни не разобрать было тех слов. Особо не вслушиваясь, я присел на толстошкурый чёрный диван.

— Кто здесь обитает? — спросил я и закурил.

— Корпусной-помощник капитана или погрузчика, — ответила она, смотря на испачканные в вещество бардового цвета руки, которые я по своей глупости не смог распознать. — А что это?

— Это кровь.

— Откуда?.. Тебе помочь? Смотри: мне мама показывала, как правильно помогать людям. Она у меня хирург. Она работает в Оклахоме.

— Мне плевать, где она работает, Мики. Ты много говоришь! Мики! Ответь мне, Мики: что за цистерны, синие, я видел на корабле?

— Мне нельзя говорить тебе о таком, — отрезала она.

***

В корпусной каморке перестал присутствовать дневной свет из иллюминаторов, только жёлто-серая лампа светила здесь. Двери были заперты по инициативе Мики, сильно волнующейся по какой-то странной и параноидальной причине; она сидела на стуле, откинувшись на него, одна рука её вальяжно лежала на колене, другая рогаткой держала сигарету у пухлых губ. Однако Мики как-то не решалась затягиваться.

— Те вагончики… — тихо и с расстановкой сказала Мики, — которые ты видел… Это грузовые контейнеры, только и всего. Конечно, понимаю тебя, дружок.

— Грузовые контейнеры? — спросил я. — Но я прекрасно видел большой лифт на тросах в туристическом корпусе парохода; у кормы. Я видел. Я видел, что пассажирский багаж помещался туда, а не куда-то ещё. И сколько я на корабле? Почему я ни разу не видел, что бы к этим… вагончикам — подходили? Неужели никто на этом пароходе не занимается техобслуживанием?

— Откуда я знаю?

— Ты знаешь, Мики, потому что работаешь здесь.

— Я работаю здесь… Чудно! Это твой аргумент? — и она сжала губами сигарету, и вдохнула дым, и когда выдыхала смотрелась убитой наповал женщиной.

Я помолчал с минуту. Затем начал исподволь:

— Знаешь, я запомнил твои слова о ночной смене. Мне, признаться, понадобилось несколько больше времени, чем я планировал, чтобы понять тебя. Ведь какая ночная смена может быть здесь?

Мики предпочла курение ответу мне.

— Впрочем, — продолжал я, — тебя можно понять: ты делаешь только то, что велят сверху. Верхние. Они тебя программируют. Только

вот ты не заметила, как осталась со мною наедине, в запертой корпусной каморе. И над нами жёлтый противный свет; он мне противный.

Мики скривила лицо в каком-то лёгком отвращении, и я даже не смог понять — сделала она это из-за сигареты, которую высосала после моих слов, или из-за, непосредственно, моей реплики.

— Не знаю, что тебе сказать, — грустно сказала Мики.

— У тебя есть полное имя?

Она притупилась.

— Мики… Энвирвуд.

— Мики Энвирвуд, ты грязная табачная укурка. Я обещаю, что убью тебя; что мне терять? Тебя? — вздор. Себя я потерял давно, и мне нравится быть в неведении. Так что же я тогда теряю? Будем честны… — в этот момент я прикурил, — честны… что ты мерзкая проститутка и ты скрываешь от меня нечто такое, что сломило бы меня с ног, как буря. Ты упорно боишься, — боишься, Энвирвуд! — боишься того, что я узнаю всю правду о вашей бесовщине.

— Какой бесовщине?

Мики вновь закурила сигарету, начав говорить; голос её не узнал.

— Какой бесовщине? — повторила она со злобой. — При первой нашей встрече я и подумать не могла, что ты на самом деле желчный и мелочный. Ты бесноватый, тихий и нервный.

— Мне плевать. Твоя ночная смена — вовсе не ночная, а вечная. Ты здесь заточена, как в тюрьме. Мне нравится думать, что тебе печально от этого; что ты в море; что здесь не так много твоих приятелей или друзей, как тебе бы хотелось.

Я встал. Мики, не шевеля головой, провела взглядом снизу вверх и остановилась на мне; она выглядела гордой, доминантной и польщённой. Я понимал, что она забывает своё место.

Мики же ощущала себя действительно так, как думал я; она сама призналась мне в этом. Я прекратил любые разговоры с ней, я позволил ей курить и наполнять непроветриваемую каморку дымом её лёгких. А дым её, если уж мы о нём заговорили, действительно казался мне особенным. Он, вышедший из недр её альвеол, бронх и прочего дерьма, казался для меня очищенным и интимным. Примерно то же чувство испытывает маленькая девочка, впервые заметившая робость и стыд голой себя перед отцом.

— Я не боюсь тебя… — и тут она хотела сказать моё имя, но осеклась. — Я не знаю даже твоего имени. Кто ты вообще такой? Как ты можешь на меня влиять?

Мики цокнула, повернула шею, натянулись складки и связки, и затянула окурок. Однако она сразу поняла, что делает, и выкинула его на пол, затоптала жалкой ножкой.

Я могу поклясться, что она знала о своей дальнейшей участи и прекрасно представляла этот момент в голове. Её лицо улыбалось мне узкими хитрыми глазами. Левая рука, как я отмечал ранее, лежавшая на колене, стала двигать пальцами, но скорее от нервов, чем от скуки.

Заметив, что я смотрю на неё, Мики закинула ногу на ногу, одновременно с этим, продолжительностью ровно такой же, как и движение, сделала глубокую полоумную затяжку; ей стало не по себе, когда потемнели глаза.

— Сколько ты можешь оттягивать? — нетерпеливо рявкнул я.

Она разозлилась сама на себя и приняла простую позу. О, как же она негодовала!

— Это нефть, — ответила она, — самая обычная нефть. Несомненно, это удивляет: что делать нефтяным цистернам на туристическом пароходе? Удивляет, не спорю…

Она улыбнулась.

— Объясни же, — улыбнулся я.

Я подсел ближе к ней и обнял её свободной рукой; объятия выглядели дружескими. Мики прикусила губу, её ресницы затряслись в попытке моргнуть, и ещё много прочего, прочего, прочего.

— Я совсем не та, за кого себя выдаю, — ответила Мики с румянцем на щеках, — я не сторож-матрос здесь, я вовсе здесь не работаю; мой отец — всё из-за него. Даже мой характер — от него.

— Какой характер?

— Такой… — она затянулась.

И, когда уже выдула дым, слов от неё не последовало; она что-то припоминала.

Я попытался внушить ей любовь, коей, конечно же, никогда не распоряжался ввиду её приглушённого отсутствия во мне. Я бы мог ей рассказать столько же боли, сколько и она мне, только приумноженную в дюжину раз. И слёзы, пошедшие бы у неё с глаз, были бы гнойными, воспалёнными и нездоровыми. У неё в душе начались бы абсцессы. В общем, я бы мог привести больше аллегорий, да только не имел желания оказывать это ей.

Мики курила. Пока она курила, я обнимал её всё откровенней, теплей и ближе, ближе прижимая к себе. Она совсем растаяла во мне, и её не пугал более терпкий запах моей служебной формы, не пугала засохшая кровь, не пугали объятия, совсем ненужные в данной ситуации.

В какой-то момент, после выдыхания дыма и продолжительно сухого кашля из-за него, Мики повернулась ко мне спиной и ею же упёрлась мне в грудь. Мои руки получили возможность больше объять её.

— Мой отец хотел покончить с собой, — начала Мики, а я аккуратно отнял у неё сигарету, — мне тогда было девять. Я пришла домой после прогулки, а отец стоял с ружьём, нацеленным на себя. Я, впрочем, увидела рядом тряпочку, поняла, что он его чистил, и прошла мимо. Через несколько недель он стал часто разговаривать со мной, вместе с тем гасил долги и убирал в своём гараже. И темой наших разговоров всегда, всегда было моё будущее! О, я, дружок, возненавидела своё будущее за эти несколько недель, так возненавидела! Я думала о нём день и ночь, утро и вечер; каждый раз, когда видела отца. Он напоминал мне об этом просто своим существованием. Я и жила так… Пока отец не

застрелился в чистом гаражике, одной августовской ночью. Я зашла туда вместе с мамой, и там пахло, до ужаса пахло каким-то газом. Мать спохватилась, испугалась, что отец нечаянно задохнулся, а он лежал у стены, без головы; голова его оставила длинный след на потолке… Отец рассказывал мне про моё счастливое поступление в университет, долгую службу на морях. Он дал мне всё, чтобы я стала корабельным врачом, но я не стала, — она закурила, — я не стала, я всего лишь угождаю матери; ей, дружок, очень тяжело от потери отца.

Мики вновь закурила.

«Отнял у неё сигарету...»

V

— Мой милый дружок, — прощебетала она хрипло, — милый мой: просто отвори двери. Я выйду отсюда и помогу тебе, чем смогу.

Я же встал. Связкой ключей я пронзил двери и вышел.

***

На корабле пахло свежими замороженными овощами — выгрузка контейнеров из холодильного отсека кухни. Сновали повара, напоминая лаборантов. Я шёл мимо них, шёл зло, намеренно, разрезая толпы.

Со временем я отошёл достаточно далеко, чтобы остаться одному. Передо мной стояли массивные стропилы, истекающие странным морским потом, точно холодным и чем-то напоминающим жидкий азот. Лампы, светившие жёсткими белыми лучами, вырезали меня из темноты радиально, то есть как театральные софиты или особо застенчивое солнце.

Я стал думать. И долго мне думать не пришлось: пришла Мики, до невероятности запуганная, усталая и нервная. Была она нервна скорее на людей, что огораживали ей дорогу, чем на меня, — прелесть, однако, была в этих наших отношениях.

«Остановись, — сказала она жалобно и положила свою руку на мою».

А всё устройство механизма для поджога, который я хотел смастерить с самого появления мысли о нефти, напрочь отсутствовало. Мне нужно было что-то технологическое и иллюзорное, чтобы обмануть человека и заставить его покончить с собой добровольно.

Я быстрым шагом приблизился к полотёрской каптёрке; там были инструменты для, например, срезания тросов или раскола ржавчины на якоре. Схватив ледоруб, я обернулся.

Мики стояла в постепенном осознании происходящего.

— Чем-то ты похожа на ту бедную утопленницу, о которой писал Достоевский; читала ведь в школе?

— Читала, — ответила она мне так, как отвечает мать на глупый, пошлый вопрос своего сына.

Ледоруб занёсся над её головою, словно радуга. И словно дождь,

если уж выражаться в данной прогрессии, она вылилась на пол кровью.

VI

Я сгорел на пароходе вместе с Мики. Нас покончили. Я не знаю, как погибли туристы и что они кричали перед смертью.

Спустя час, горящий и вспыхивающий, пароход опустился на дно иссиня-чёрных бесконечных вод.

Мой механизм оказался предельно простым: его активировала Мики.

Бал № 1

Непонятно почему, Йонеско чувствовал себя подавленным, очень слабым и воспалённым. В его загородном доме горел свет, который сам Йонеско не включал перед уходом. В жёлтом свете окон передвигались высокие, тонкие фигуры, чем-то похожие, наверно, на ствол берёзы, совсем недавно посаженной.

Итак, Йонеско был напуган. В уличной темноте стрекотали маленькие цикады; неприятно слышать от них нечто похожее на звук, издаваемый, например, языком человека. Возможно, это слуховая галлюцинация? По всему периметру маленькой улицы, где жил Йонеско один, стояли маленькие домики. В них не горел свет. Странная молчаливость обволакивала даже траву. Ветер был, но не двигал растительность. Йонеско совершал тихие шажки, стараясь передвигаться исключительно по газону, и приближался к своему дому.

Он огляделся, пока шёл, и увидел вдали высокие, высокие деревья, растущие слишком уж ровно, с идеальным расстоянием между собой; чёрные баобабы на фоне синего неба. Они, пожалуй, были самой высокой точкой на всей улице… Но как это связано с тем, что в доме у Йонеско появились незваные гости? Йонеско не думал в этот момент о чём-то ином, кроме этого. Его мысли, конечно, имели чёткую тему — свет, однако бушевали и не слушали одна другую.

Йонеско резко остановился.

«Нужно немедленно остановиться, — подумал Йонеско. — Меня отвлекают...»

Он крался и застыл в крадущейся позиции. Йонеско напоминал хищную кошку, что охотится вовсе не на реальную жертву, а на видения своего разума. Со стороны могло показаться, что Йонеско психически болен. Его голова при поворотах потрескивала. Глаза бегали в разные стороны, но не могли добежать никуда, пожалуй, кроме ночной улицы. Эта ночная улица… Какое прекрасное место, однако, располагается совсем рядом, под окнами Йонеско.

«Замечал ли я вообще когда-либо красоту… красоту здешнего мрака, этих трёх-четырёх исполинов… деревьев, что растут там, далеко, молча. Для чего там растущие — непонимающие, молчаливые деревья, что отрезают небо своей тенью. И небо кажется мне, сейчас, перевёрнутой короной».

Йонеско присел в нарастающем страхе на землю, согнув колени, и прикоснулся кончиками пальцев к тёплому тротуару. Сквозь него прорастала трава. Шершавая текстура тротуара.

Йонеско смотрел на свои окна, приглядывался внутрь. Одна из мельтешащих теней остановилась у окна тоже, очень пристально глядя, вероятно, на Йонеско. У него перехватило дух.

Он обречённо вошёл в дом и навсегда изменился.

Бал № 2

На меня насмешливо смотрят сотни глаз. Глаза состоят из людей, моих знакомых, моей семьи, например, или коллег по работе.

Я живу один, совершенно один. Меня не населяют микроорганизмы, как населяют других людей. В моей душе, внутри, живёт чернокожий моллюск. Он питается обгоревшей внутренней кожей. Их глаза выпаливают её во мне.

Глаза семьи: к примеру, моей сестры, ей двенадцать. Она смотрит пристальнее всех, и яростнее всех комкает подол своего летнего платьица. Я считаю, что под её платьицем лежит тайна мироздания в треугольной форме, жёсткое, но и мягкое, меховое, как бывает оно у девчонок её возраста. Мою девочку, сестрёнку, зовут Жоскана. Француженка с бельгийскими корнями, никогда не произнёсшая и слова на французом. Господи, какие у неё глазки! Белые, налитые голубой кровью, оттого-то они и смешаны, блики-то, в её глазах! Красивые впалые мешки под глазами. Представьте себе, как оно бывает: ничто и никогда не лишит меня уверенности в её Существе, в её девственном (конечно, девственном, ей всего двенадцать!) лице отражается правда, отражённая родительской любовью, затаившейся тем временем, которое не запомнилось.

Жоскана особенно меня пугала. Её глаза красивы, но обременяли меня чем-то плохим. Я не мог долго задерживать на ней свой простодушный взгляд и переводил его на матушку.

Матушку звали Йонеска, высокая и больная женщина, возможно, видела смерть во время рождения меня, своего сына, так как её резали множество раз с целью извлечения. Тогда она практически не смотрела на меня, а я, когда перевёл взгляд на матерь, понял о страхе, о страхе, что зародился когда-то глубоко в её наивной груди. Этот страх целиком отражался в серости глаз, в которые я смотрел; что у неё со взглядом, простите! Её, полагал, пугало отсутствие чего-то обыденного в этой ситуации. Матерь не оглядывалась на свою дочь Жоскану, я вообще не помню, куда она смотрела. Это страшная суть. Мне невероятно страшно и лёгкие внутри сжимаются, поднимается давление. В груди тяжело дышать тому, кто там живёт. Животное. Колючее...

Йонеска была в этом сборе самой непонятной для меня и, невыносимо что страшно, боязливой. Казалось мне тогда, что её семейный авторитет слишком велик даже для какой-нибудь слабой вещички на лице: имеется в виду эмоция. В общем, она всех более походила не просто на мертвеца, а на труп, который умер в сознании, скажем так, ожидавший своей смерти и принявший её не с болью и не с огорчением, а со стоицизмом зловещего дуба, который рос в дебрях полного мрака, полнейшего мрака! Конечно, конечно, я пошл. Что же мне даёт право так отзываться о своей матери?

Бал № 3

Какой милый голос у Жузепы! Она говорит чаще, когда об этом просит Жарка, её матушка. Приятный бал происходит. Приятный, жёлтый, горящий, спящий, немой и предсмертный, как игра на клавесине, или как хождение по льду, заранее известное своим фиаско, своим смертельным исходом. И возникает у Жузепы приятная боль в горле, когда она поёт, но Жузепа улыбается веером и продолжает петь, ступая на новые высокие октавы, шепчется с собою... шепчется... никто не слышит её шёпота, и матушка...

— Матушка, матушка! — остановилась петь Жузепа. — Как я бедна, как я черства бываю с вами! Простите же меня, поцелуйте! же! меня! в ладони или кончики ладоней, поцелуйте, обнимите, приласкайте по-лесбийски, коль не можете по-матерински приласкать...

Жарка всплеснула руками и зарумянилась. Ветер за дворами стихал, стихал...

— Твои манеры! твои манеры! — куда ты забрела? Так ли я учила тебя вести с людьми высшего рода? Прерываешь своё прекрасное пение — ради чего? Ради меня? Ни в коем случае, никак! Продолжай петь, Жузепа! Это материнский приказ.

«Материнский приказ, — пронеслось в голове. — Материнский удел — приказывать мне...»

Жузепа не вытерла слёзы, что появились на щеках капельками, и продолжила петь, но хрипло и через боль...

— Ай, я бедна!.. — пропела Жузепа. — Моя матушка бедна! ай-яй-яй!

Жарка сняла туфельку и бросила её под ноги Жузепы. Туфелька закатилась под платье и скрылась там.

Жузепа подняла туфельку. Посмотрела на неё она с неуверенностью, прижала туфельку к сжатой карсажом груди...

— Мамочка, — заплакала Жузепа, — не *матушка!* — мамочка моя, проснись. О, сколько лет мы провели в догматическом сне? Умываясь теизмами, мы слепли! Почему наша вера так неясна?.. Почему мы так далеки друг от друга?.. На этом балу я не вижу себя в роли дочери...

Всхлипы по розовым щёчкам...

— Матушка, позвольте же, — продолжала Жузепа, — вот — ваша туфелька, возьмите, возьмите! Простите меня, ну простите! Я не имею шанса-то? Я — девка, простая девка...

Жарка сняла вторую туфельку и так же бросила её в плачущую Жузепу. От попадания прямо в лицо девушка перестала плакать, опешила и испугалась, точно маленькая девочка.

— М... м-мамочка, — дрожали её губки, — не доводите до греха, пожалуйста... Вашу туфельку, — Жузепа подняла вторую туфельку с пола, — я не оставлю лежать. Её место на вашей ноге, а задача — пятку

держать. Простите меня, опять-таки, мамочка, что прервала бал своими капризами...

Жарка приподняла пышное платье за подол и побежала на сцену, где не плакала, а умирала душевно Жузепа...

— Грязная дочь, плутовка. Невероятен тот факт, что тебя, ничтожную девку, ласкала малюткой. Не заслуживаешь ничего! Отдай мои туфли, перестань рыдать!

Жузепа отдала туфли.

— Нате вам, матушка, — сказала она. — Забирайте, забирайте.

Надев туфли на ноги, Жарка ушла из помещения.

Жузепа плакала ещё несколько минут, осев на колени, а после покинула бал.

Бесноватый (индийский сказ о Ветале)

Августовское солнце палило голубую эмалированную поверхность погреба. Вырванная трава с комья земли валялась тут и там, ничего за собой не неся. Внутри, в самом погребе, кто-то рылся, напрягался. Было непонятно, для чего этот человек туда залез. Никаких мешков с картошкой.

Из погреба вылезла девочка-подросток, с опечаленным и злым лицом, отряхивая свои штаны от неведомой коричневой пыли. За ней, относительно пузатый, в рубашке, вылез дедушка. Его длинные седые волосы были заплетены в две короткие косички. Тело деда отражало солнечный свет, и девочке постоянно казалась такая картинка: что дедушка переливается галлюцинаторными кружками и фигурами, словно полотно, на котором воспроизводится чей-то наркотический делирий.

Бывало такое, что дедушка врывался в чужие дома (сперва он вырастал в человека из огромной красной розы, что росла на газоне), потом включалась энергичная музыка...

Белка

Я ходил долгое время по растительному пустырю один, начал ещё с рассветом солнца, и доселе ходил бы, если б не одно тревожное летнее происшествие, которое заставило меня присесть на траву у голубого ручья. Весь день воздух ощущался ненастным и парким, будто противящимся тому, чтобы его вдыхали. Небо было без облаков, очень белое, даже с неприятным серым оттенком. Летали птицы, однако мне почему-то казалось, что летали-то они, по глупости своей, совершенно бесцельно, ничем не занятые и никуда не спешащие; только и вздымаются ради Христа, только и хотят поддержать устоявшийся баланс моей жизни. Чтоб я там, упаси и отведи Господь, не задумался случайно: «О, какая же паршивая обманка, какой ядовитый фальшь!»

Я задумался об этом, право, когда садился у ручья, и никакие иные обстоятельства не могли бы меня уразуметь.

Пустырь, по которому я ходил, был очень красивым и, что радовало меня и как-то особенно освежало, немноголюдным; правильнее сказать, впрочем, нелюдным вообще. Но слово это я употребил лишь потому, что в учёт взял себя.

Да, действительно, здесь не часто встретишь человека; я не встречал. И заметно было невооружённым глазом, что место — диковатое, не тронутое рукой людской.

Сидя у ручья, признаться, мне не приходили такие мысли, всё кругом отвлекало меня. Моим усталым глазам больше всего были приятны деревья — это я хорошо помню; то есть сама их природа, всегда не угаданная, где-то зрелая, а где-то — перезрелая, но от этого не терявшая своей глубины, в которую-то и погружается человек, когда долго не отводит взгляд об объекта созерцания.

Из-за яркого неба я толком и не мог разглядеть цвет тонких стволов их. Просто видел, что они идеальны. С особым упоением я также пытался разузнать, к примеру, что за дерево я вижу перед собой. Вглядывался в плоды, в изгибы листьев, но ничего на ум не пришло.

Спустя двадцать — тридцать минут сего мероприятия, когда я собирался покидать это чудное место, моему расщедренному взору показалась проплывающая по ручейку белка. Я тут же поборол смешок и улыбнулся. Но в одно мгновение всё моё нутро расстроило и смутило прискорбною мыслей, что белки-то, по природе своей, не плавают. Живые-то белки…

Кошатница

Когда-то давно я была бабушкой в старом доме, не имеющей внуков и детей в целом. То есть обычная старушонка-кошатница. Кошек я очень любила, питала к ним особое чувство любви, к людям не поддающееся. С раннего детства меня тянуло к запаху кошек, к этому приторному и слегка странному аромату шерсти. Меня поймёт только тот, у кого была кошка.

Главным атрибутом моих домашних любимцев была кастрация. Я кастрировала и кошек, и котов лично, так как в то время (особо голодное) не доверяла врачам и не имела денег как таковых.

Мой старый дом был облагорожен тоннами старинных ваз и обоями с глянцевым воспалением. Только в одной ванной комнате насчитывалось более тридцати кошек! В общей сложности в моём доме проживало сто пятнадцать кошек и котов разной породы.

Как вы понимаете, верно, из моего рассказа, я была больной на голову бабушкой. За питомцами не убирала, не кормила их и не поила. Вы подумаете, что я жестока. Но нет, я не жестока и не живодёр. Мои питомцы таким образом приучались к самостоятельности; выходили на улицу через окна, искали еду-воду, а к вечерку огромной стаей возвращались. Кто жалобно мяукал, кто сытно журчал.

Когда-то давно… я была бабушкой. Почему же была? На меня совершили нападение мои питомцы и съели меня, обглодали как рыбёшку. Ели всё: кости тоже.

С тех пор я не живу.

Февраль — май 2025 г.